



Н. И. УЛЬЯНОВ

Александр I — император, актер, человек

<Фрагменты>

31 марта 1964 года исполнилось 150 лет с того дня, когда русский император Александр I, в сопровождении короля прусского и австрийского генерала Шварценберга¹, вступил в Париж во главе гвардии и союзных войск. Зрелище было одним из самых редких. Весь Париж высыпал на улицу; тротуары, окна, крыши домов полны были народом, с балконов махали платками. Александр нисколько не преувеличивал, когда рассказывал потом князю А. Н. Голицыну: «Все спешило обнимать мои колена, все стремилось прикасаться ко мне; народ бросался целовать мои руки, ноги, хваталась даже за стремяна, оглашали воздух радостными криками, поздравлениями». Французы, действительно, проявили род экстаза. “*Que L’Empereur Alexandre est beau, comme il salue gracieusement! Il faut qu’il reste a Paris ou qu’il donne un souverain qui lui ressemble*” («Как прекрасен император Александр, как любезно он приветствует! Желательно, чтобы он остался в Париже или дал бы нам государя, подобного себе»).

Это был лучший день в его жизни. Ни торжественная встреча в Лондоне и в Амстердаме, ни фимиамы, курившиеся в Германии, не могли затмить парижского триумфа. Два месяца пребывания во французской столице были сплошным купанием в лучах славы и почестей. Он блистал в салоне мадам де Сталь, танцевал в Мальмезоне² с императрицей Жозефиной³, посещал королеву Гортензию⁴, беседовал с учеными, поражая всех своим образцовым французским языком. Выходил и выезжал без охраны, охотно вступал в разговоры с народом на улице, и всегда его сопровождала восторженная толпа. Популярность его была такова, что к ней возревновал Луи XVIII⁵, посаженный на трон милостию Александра.

Казалось бы, русское национальное самолюбие удовлетворено было полностью; все, как будто, сделано для оправдания известной

фразы: «Покорение Парижа явилось необходимым достоянием наших летописей. Русские не могли бы без стыда раскрыть славной книги своей истории, если бы за страницей, на которой Наполеон изображен стоящим среди пылающей Москвы, не следовала страница, где Александр является среди Парижа».

Но у многих современников, особенно участников парижского взятия, зрелище «Александра среди Парижа» породило чувство не гордости, а обиды. Блистал один царь, армия же, претерпевшая столько лишений и вознесшая его на небывалую высоту, поставлена была в самое унижительное положение. В то время как союзное начальство создало для прусских и австрийских солдат вполне приличный режим, с русскими обращались, как с сенегальцами, стараясь прятать от взоров парижан. «Победителей морили голодом и держали как бы под арестом в казармах, — писал участник кампании Н. Н. Муравьев⁶, известный впоследствии под именем Карского. — Государь был пристрастен к французам, и до такой степени, что приказал парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на улице встречали, отчего произошло много драк». Не мало оскорблений претерпели и офицеры. Стараясь приобрести расположение французов, Александр, согласно Муравьеву, «вызвал на себя ропот победоносного своего войска».

Во второй свой приход в Париж, после знаменитых «Ста дней», в 1815 году, он нанес этому войску еще более чувствительную обиду. Заметив во время церемониального марша гвардейской дивизии, что некоторые солдаты сбились с ноги, он приказал двух заслуженных командиров полков посадить под арест. Само по себе это еще не представляло ничего необычного; одиозность заключалась в том, что арестовывать провинившихся должны были англичане, и содержаться они должны были не на русской, а на английской гауптвахте. Напрасно Ермолов умолял лучше в Сибирь их сослать, чем подвергать такому унижению русскую армию. Император остался непреклонен.

До офицеров часто доходили презрительные отзывы государя о своих подданных; каждого русского он считал либо плутом, либо дураком. Никаких заслуг за ними не признавал. Когда во время смотра русской армии при Вертю герцог Веллингтон⁷ отозвался о ней с чрезвычайной похвалой, Александр во всеуслышание заметил, что всем обязан исключительно иностранным офицерам, состоявшим у него на службе. Казалось, в нем воскресли замашки его гольштейн-готторпского деда Петра III. Обнаружилась резкая разница в обхождении с русскими и с иностранцами. Полковник Михайловский-Данилевский свидетельствует об обворожительной любезности царя всякий раз, когда у него бывали иноземцы, и о рез-

кой перемене тона, как только они уходили. С оставшимися русскими Александр начинал обращаться, как помещик со своей дворней после отъезда гостей.

Принимая с наслаждением овации парижан, он не захотел приветствий и рукоплесканий своего собственного народа. В Петербурге воздвигались к его приезду триумфальные арки, сооружался фейерверк и иллюминация, но он еще с дороги прислал высочайший рескрипт на имя петербургского главнокомандующего Вязьмитинова⁸ с запрещением каких бы то ни было встреч и приемов. Приехал в Петербург в семь часов утра, с таким расчетом, чтобы его никто не видел. Только когда прибыла морем гвардия, высадившаяся у Ораниенбаума, он не мог отказать ей в почетной встрече, каковая и состоялась 11 августа 1814 года.

Со стороны русских государственных деятелей немало было возражений против похода на Париж. Сам главнокомандующий М. И. Кутузов считал его делом антирусским и пребывал по этому поводу, в постоянных противоречиях с императором. Насколько эти противоречия были остры, можно судить со слов чиновника Крупенникова, находившегося в комнате умиравшего фельдмаршала, в Бунцлау, и слышавшего последний разговор его с царем.

— Прости меня, Михаил Илларионович!

— Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит.

В конце 1812 года Кутузов напомнил Александру его клятву: не складывать оружия до тех пор, пока хоть один неприятельский солдат останется на его территории. «Ваш обет исполнен, ни одного вооруженного неприятеля не осталось на русской земле; теперь остается исполнить и вторую половину обета — положить оружие».

Вместе с адмиралом Шишковым, графом Румянцевым и несколькими другими сановниками Кутузов принадлежал к той части русского общества, которая считала ненужной и вредной окончательную гибель Наполеона. Полагали, что истребление Великой армии — достаточно хороший урок для корсиканца, чтобы у него не появилось желания снова двинуться в Россию. С ним теперь можно заключить выгодный, почетный мир, но никак не добиваться полного исчезновения его с европейской арены. Оно освободило бы исторических врагов России — Австрию, Пруссию, Англию.

Еще под Малоярославцем, задолго до окончательного изгнания неприятеля, Кутузов откровенно признался своему врагу, английскому генералу Вильсону⁹, что усматривает задачу не в уничтожении противника, а только в выпроваживании его из русских пределов и в воздержании от дальнейших военных действий. «Я вовсе не убежден, будет ли великим благодеянием для вселенной совершенное

уничтожение императора Наполеона и его армии. Наследство его достанется не России или какой-нибудь другой из держав материка, а той державе, которая уже теперь господствует на морях, и тогда преобладание ее будет невыносимым».

Главкомандующий с самого начала войны вел борьбу с союзническим влиянием, пустившим в Петербурге и в армии такие корни, что многие офицеры смотрели на события нерусскими глазами. «Мы никогда, голубчик мой, с тобой не согласимся,— сказал он раз одному из своих генералов,— ты думаешь только о пользе Англии, а по мне, если этот остров сегодня пойдет на дно моря, я не охну».

Вряд ли он смотрел так далеко вперед, как это думает Е. В. Тарле¹⁰, приписывая Кутузову род предвидения тех дней, когда европейцы будут «лить кровь внуков и правнуков тех русских солдат, которых теперь хотят погнать для освобождения Европы от Наполеона», но, несомненно, старый воин умел трезво оценивать факты и чужд был политических фантазий. Лучше всех зная, что такое Наполеон и что такое война, он считал верхом легкомыслия идею преследования противника за пределами России.

Все наиболее осведомленные историки, вроде Н. К. Шильдера, полагают, что общественное мнение в России было на стороне главнокомандующего. Говорили, что Россия и без того совершила чудо и что теперь, когда отечество спасено, ей незачем приносить жертвы для блага Пруссии и Австрии, чей союз хуже откровенной вражды. Дошло до того, что Пензенская губерния, сформировавшая свое ополчение для борьбы с вторгшимся в Россию неприятелем, не пожелала отправить его в заграничный поход.

Один император, поддерживаемый раболепным хором придворных да союзническими дипломатами, настаивал на преследовании и низложении «тирана».

В какой-то мере Александр может считаться предшественником русского «западничества» 30–40-х годов, по крайней мере его лексикона и фразеологии. Именно с похода 1813 года слова «Европа», «мир», «вселенная», «человечество» стали произноситься с той декламационной напыщенностью, которая так привилась впоследствии. Первые слова Александра к собравшимся во дворце генералам, по прибытии в Вильно в декабре 1812 года, были: «Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу». Когда князь М. Ф. Орлов¹¹ явился к маршалу Мармону¹² с предложением сдаться на капитуляцию, он отрекомендовался «флигель-адъютантом его величества императора всероссийского, который желает спасти Париж для Франции и мира». Тот же Орлов по поводу притязаний России сказал, что она хочет «ничего для себя и всего для мира».

В то время как Австрия, Пруссия, Англия шли под своими национальными знаменами и откровенно преследовали национальные интересы, Александр представлял себя благодетелем и освободителем «Вселенной». Прусский король, не успев еще выступить в поход, приготовил счет на 94 миллиона франков в возмещение поставок для наполеоновской армии в 1812 году. После победы союзники забирали у Франции порты, крепости, корабли, пушки, военное имущество и припасы, отхватывали территории на Балканах и в Италии — Александр не брал ничего. Он держался так, что никому в голову не приходило, что это царь самой бедной страны, чья столица обращена в пепел, чьи восемь губерний разорены дотла, чья и без того слабая экономика подорвана, чей народ истекает кровью после небывалой в истории войны. О бедствиях этой страны он ни разу не обмолвился. Не любил и вспоминать об этом. «До какой степени государь не любит вспоминать об Отечественной войне!» — замечает барон Толь¹³ в своих записках. «Сегодня годовщина Бородина», — напомнил он императору 26 августа 1815 года; Александр с неудовольствием отвернулся от него.

Михайловский-Данилевский, постоянно находившийся при царе, оставил в своем дневнике такую запись под 1816 годом. «Непостижимо для меня, как 26 августа государь не только не ездил в Бородино и не служил в Москве панихиды по убиенным, но даже в сей великий день, когда все почти дворянские семьи в России оплакивают кого-либо из родных, павших в бессмертной битве на берегах Колочи, государь был на балу у графини Орловой. Император не посетил ни одного классического места войны 1812 года — Бородина, Тарутина, Малоярославца, хотя из Вены ездил на Ваграмские и Аспернские поля, а из Брюсселя в Ватерлоо». Звание русского царя, казалось, меньше всего удовлетворяло Александра. «Бог ниспослал мне власть и победу для того, чтобы я доставил вселенной мир и спокойствие».

Для снискания восторгов и кликов парижской толпы этот язык был самым верным, но у испытанных политиков, особенно таких, как Меттерних и Талейран, он не мог не вызвать насмешки. «Вселенная» скоро дала урок своему освободителю, превратив антинаполеоновскую коалицию в коалицию антирусскую.

Для того же Талейрана в первые дни по взятии Парижа каждое слово Александра было законом; он даже жить пригласил его к себе в дом; но уже через месяц царь переехал от него в Елисейский дворец. Талейран объединил против него всех недавних его союзников. Луи XVIII, корчивший из себя Людовика XIV, начал демонстративно оказывать своему благодетелю знаки пренебрежения — развалился при первом же свидании в кресле, предложив императору стул; за обе-

дом, когда лакей собирался сначала Александру налить супа, заорал: «Pour moi s'il vous plait!» («Мне, пожалуйста!»).

Наиболее обязанная Александру европейская страна, Пруссия, меньше чем через десять лет забыла его благодеяния, а в эпоху Бисмарка, Трейчке, Вильгельма II самый факт участия России в освобождении Германии замалчивался либо отрицался вовсе. О том, как благодарил Австрия, — всему миру известно.

Уже в дореволюционной русской историографии не много было споров по поводу оценки похода 1813 года. Большинство авторов считало его одним из самых неразумных предприятий с русской точки зрения. Полагали, что вред изменения европейского равновесия не в русскую пользу и тот страх перед русским колоссом, который перешел в ненависть, были прямым результатом парижского похода. Что касается советской историографии, то она этим сюжетом никогда не занималась. В эпоху Покровского исходили из ленинского определения антинаполеоновской коалиции как «разбойничьих государств».

Но в полуторастолетнюю годовщину взятия Парижа сочли, видимо, неудобным приписывать дело освобождения «разбойникам», тем более что сам К. Маркс называл войну 1813–1814 годов «освободительной». Неудобно клеймить и непрошенного освободителя Александра в такое время, когда вся внешняя политика СССР — сплошное непрошенное освободительство, сплошное отрывание куска хлеба у собственного народа, ради миллиардных затрат на вооружение Кубы, Индонезии и прочих экзотических стран, о существовании которых русский мужик слыхом не слыхал. Пришлось реабилитировать взятие Парижа и причислить его к лику «прогрессивных» явлений. Зато произведена была перестановка действующих лиц: Александра отодвинули на задний план и едва удостоили упоминания, тогда как инициативу преследования Наполеона и избавления от него Европы, вопреки всем данным, приписали... Кутузову. Главным же героем сделали «революционный германский народ». Не забудем трагического положения русских историков в СССР и не станем возлагать на них ответственность за такую фантастику.

Александр буквально за волосы втащил союзников в Париж. Такая настойчивость не может не привлечь к себе особого внимания. Почему из всех врагов Бонапарта один Александр проявил полную беспощадность и методичную последовательность в его уничтожении?

Сам Наполеон начал присматриваться к царю только после трагического оборота войны 1812 года. До тех пор лучший комплимент, сказанный им по адресу Александра, гласил, что он не так глуп, как о нем иногда думают. Лишь взяв Москву и наткнувшись на железную непримиримость Александра, Наполеон увидел в нем противника, не-

похожего на тех, с которыми приходилось иметь дело дотоле. Когда же выяснилось намерение Александра идти на Париж и обнаружилось, что ни тяготы похода, ни поражения, ни предательство союзников, ни соблазнительные предложения самого Наполеона не способны его остановить и заставить пойти на сговор, Наполеон понял, что это и есть его подлинный смертельный враг. Усталый, искусанный, он неуклонно добирался до его горла.

В исторической литературе давно отмечен фанатизм этой загадочной ненависти и существует немало попыток ее объяснения. Самое неудачное то, которое исходит из экономических и политических интересов России. У России не было реальных поводов для участия в наполеоновских войнах. Европейская драка ее не касалась, а у Наполеона не было причин завоевывать Россию. Веди она себя спокойно, занимайся собственными делами, никто бы ее пальцем не тронул.

Не более убедительна и другая точка зрения, объясняющая войны России с Директорией и бонапартистской Францией реакционными склонностями русских царей. Только война Павла I могла бы подойти под такое толкование, и то с трудом. Александр же меньше всех походил на борца с революционной заразой, он еще до вступления на престол поражал иностранцев негодующими речами против «деспотизма» и преклонением перед идеями свободы, закона и справедливости. Конечно, цена его либерализма известна, и вряд ли приходится возражать тем историкам, которые считали его маской, но такая маска годится для чего угодно, только не для борьбы с революцией. Гораздо вернее, что у него не было никаких принципов и убеждений.

В разговорах с бароном Витролем¹⁴, за две недели до взятия Парижа, он высказался в пользу учреждения республики во Франции. Он не любил Бурбонов. Но когда Талейран сказал ему, что возможны лишь две комбинации — Наполеон или Людовик Восемнадцатый, он согласился на Людовика, хотя никогда не скрывал антипатии к старой династии. Десятого апреля он одарил роялистов трогательным спектаклем, собрав русскую армию на теперешней Place de la Concorde, «где пал кроткий и добрый Людовик Шестнадцатый». Там было совершенно торжественное молебствие, при стечении парижской публики и всего знатного, что было в столице.

Республика или Бурбоны — царю было безразлично. Лишь бы не Наполеон. Еще за неделю до капитуляции Парижа он сказал Толю: «Здесь дело идет не о Бурбонах, а о свержении Наполеона». Это и есть ключ к тайне его вражды и непримиримости. «Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать», — сказал он полковнику Мишо¹⁵ в 1812 году, а сестре своей, Марии Павловне¹⁶,

еще задолго до того внушал: «В Европе нет места для нас обоих. Рано или поздно, один из нас должен уйти». Есть основание думать, что свержение Наполеона было мечтой и делом его жизни и захвачен он был этой идеей с начала своего царствования, если не раньше. Альбер Сорель¹⁷ полагает, что уже в период мемельского свидания план сокрушения Наполеона начал складываться в голове царя.

Он, безусловно, понимал невозможность поединка с величайшим полководцем всех времен и искал союзников. Конечно, он знал коварство прусского короля, его мелкие проделки, вроде заключения в 1806 году двух тайных союзов одновременно с Францией и с Россией; знал и терпел такие же проделки в 1813–14 годах, но прощал все и спасал своего партнера, как мог, понимая, что без жертв и без отпущения грехов никаких союзов создать и удержать невозможно. Во имя заветной цели, он постоянно закрывал глаза на коварство своих друзей.

В Вене, во время знаменитого конгресса, разыгрался единственный в своем роде случай. 3 января 1815 года Меттерних, Талейран и Кестльри заключили тайный договор против России, предусматривающий войну и создание 450-тысячной армии, для которой Англия, Франция и Австрия обязались выставить по 150 тысяч каждая. Князь Шварценберг начал разрабатывать план войны с Россией. Александр оказался изолированным, и у всех, кто еще недавно заискивал перед ним, появилась гордая осанка и металл в голосе. Отсылая своему королю договор на ратификацию, Талейран писал о нем, как о величайшем успехе Франции. И вдруг, 7 марта прибыла эстафета из Генуи, извещавшая об отплытии Бонапарта с острова Эльбы. Разом все переменялось. Снова понадобились русские штыки и русские гренадеры, и Меттерних, и Талейран появились опять в приемной у Александра. Но вот, 8 апреля, император получает бумагу из Парижа от Наполеона. Луи XVIII бежал из Тюильри с такой поспешностью, что забыл на столе в своем кабинете тайный договор, присланный ему Талейраном. Наполеон любезно отослал его русскому императору, которому представлялся теперь исключительный случай достойно проучить своих двуличных друзей. Он мог нанести чувствительный удар их моральному престижу и уехать из Вены с видом жертвы союзнических интриг, мог доставить себе удовольствие, оставив их один на один с корсиканским львом, и даже — заключить с ним дружественное соглашение, которое тот предлагал через королеву Гортензию и которое подсказывалось всей создавшейся обстановкой. Без всяких усилий и жертв со своей стороны он мог занять самое видное место в Европе, избавившись от роковых друзей и получив прекрасного союзника в лице врага.

Но вот что произошло. Призвав к себе барона Штейна и дав ему прочесть трактат, Александр сказал: «Я пригласил к себе также князя Меттерниха и желаю, чтобы вы были свидетелем нашего разговора». Когда вошел Меттерних, Александр спросил: «Известен ли вам этот документ?» Пока растерявшийся князь придумывал, что ответить, император заявил: «Меттерних, пока мы оба живы, об этом предмете никогда не должно быть разговора между нами. Теперь нам предстоят другие дела. Наполеон возвратился, и поэтому наш союз должен быть крепче, нежели когда-либо». С этими словами он бросил бумагу в горевший камин. Ни Меттерних, ни Талейран, конечно, не в состоянии были объяснить такого жеста главы государства; они были политиками, а политику в поступке Александра трудно найти. Что же в нем было? Была прежняя одержимость враждой к Наполеону чисто личного свойства.

Одну из причин этой вражды подметил великий князь Николай Михайлович в своем труде об Александре I. Бонапарт, еще в бытность свою первым консулом, затронул самую чувствительную рану Александра — напомнил ему отцеубийство, каковое напоминание никогда ему не было прощено. Такое соображение очень важно иметь в виду, но вряд ли оно объясняет всю силу страсти, с которой царь добивался уничтожения противника. Ему и собственные подданные, вроде Яшвиля, делали такие напоминания, но ничему, кроме простой опалы, не подвергались. Вражда его к Наполеону — род ревности к чужой славе, встречающийся в шекспировских драмах <...>.

Американская и французская революции открыли эру честолюбцев. Старый абсолютизм Бурбонов, Габсбургов, Романовых свободен был от этого новомодного греха. Монархи так высоко стояли над народом, что воздававшиеся им почести рассматривались как должное, да и приносились не в воздаяние их личных заслуг и талантов, а в знак преклонения перед помазанничеством Божиим. Государям и в мысль не приходило добиваться «популярности» у своих подданных. Что же до генералов и министров, то они заботились о монаршей милости, а не о любви народной. Только революционная эпоха, выведшая массы на сцену, поставила проблему популярности и породила культ героев. Двадцатидвухлетние генералы стали бить седовласых фельдмаршалов, военными громами начали повелевать не графы и герцоги, а бывшие конюхи. Разом упали в цене чины, титулы, пышные звания, уступив место таланту и дарованию. Появились никому прежде не ведомые Вашингтоны, Мирабо, Робеспьеры, Бонапарты, чьим украшением стала не грудь, увешанная орденами, а собственный гений. С тех пор не знаки отличия, а гул молвы, овации и рукоплескания сделались мечтой всех честолюбцев. Ослепительный восход

звезды Наполеона породил их в невиданном количестве. Юношество всех стран бредило карьерой чудесного корсиканца, и в этой толпе были не одни безвестные Жюльены Сорели. Император всероссийский Александр Павлович смело может быть отнесен к их числу. Он тоже был захвачен величественной эпопеей нового Цезаря и жаждой такой же славы, такого же блеска, в котором выступал перед всем миром Наполеон. Соперничество и соревнование были истинной причиной его неприязни. Эту тайну своего сердца выдал он в день вступления в Париж, когда он, как ему казалось, сравнялся наконец в славе с Наполеоном. «Ну что, Алексей Петрович, скажут теперь в Петербурге? — обратился он к Ермолову. — Ведь, право, было время, когда у нас, величая Наполеона, меня считали за простака». Кокетничая скромностью и смирением, Александр, на самом деле, никому не прощал непризнания за ним выдающихся качеств. Сестре своей Екатерине Павловне он писал из Эрфурта в 1808 году: «Бонапарт воображает, что я не что иное, как дурак. Смеется тот, кто смеется последним».

Для повелителя необъятной империи с населением в 36 миллионов человек существовало много способов прославиться без войны, без участия в европейских распрях. Кольбер снискал мировую известность одним только поднятием финансовой и экономической мощи Франции. Ришелье, также, велик стал во всем мире единственно тем, что создал в своем отечестве сильную монархию. Но у Александра не было своего дела, особенно в России. Как все тщеславные люди, он думал не о деле, а о почестях и, как все тщеславные, не любил чужих подвигов. Он завидовал всем героям Отечественной войны. К памяти Кутузова питал откровенную неприязнь, ответил отказом на приглашение Фридриха-Вильгельма осмотреть памятник Кутузову, воздвигнутый королем в Бунцлау, где скончался победитель Наполеона. Говорили, что опала адмирала Сенявина¹⁸ объясняется тем, что его победа над французским флотом и войсками слишком резко выделилась на фоне поражения самого Александра под Аустерлицем.

Если столь ревнивое отношение проявилось к отечественным героям, то что сказать про того, кто своей мировой славой отравил душу и помыслы русского царя? Сразиться, победить, вырвать эту славу — вот сон, снившийся ему днем и ночью. Он ждал первого случая, чтобы схватиться с Наполеоном, и когда в 1804 году монархическая Европа всколыхнулась по поводу расстрела герцога Энгиенского, Александр реагировал резче всех — выслал из Петербурга французского посла Эдувиля, а в Париже выступил с нотой протеста. После этого он действует в Лондоне и в Берлине, как самый нетерпеливый и горячий участник антифранцузской коалиции.

Тактика его соперничества с Наполеоном продумана была и выполнена артистически. Ее можно назвать гениальной. Александр понимал, что сорвать с Бонапарта лавры полководца — вещь немыслимая, и никогда не пытался этого делать. Ни под Аустерлицем, ни в дни великого нашествия, ни в походе на Париж не впадал он в соблазн принять на себя командование. Когда ему однажды посоветовали это сделать, он грациозно отклонил предложение: «Все люди честолюбивы; признаюсь откровенно, что и я не менее других честолюбив... Но когда я подумаю, как мало я опытен в военном искусстве в сравнении с неприятелем моим и что, невзирая на добрую волю мою, я могу сделать ошибку, от которой прольется драгоценная кровь моих детей, тогда, невзирая на мое честолюбие, я готов охотно пожертвовать моею славою для блага армии. Пусть пожинаят лавры те, которые более меня достойны их».

Затмить Наполеона и привлечь к себе внимание мира он собирался не как полководец, а как «Агамемнон» — предводитель царей и народов. Его заботой было — как можно меньше походить на своего соперника. Там, где Наполеон говорил «Моя воля», Александр говорил «Провидение»; Наполеон говорил «война», Александр — «мир». Гордости и самовлюбленности врага противопоставлены были скромность и смирение. Он не приказывал, как Наполеон, а деликатно просил, но так, чтобы эта просьба исполнялась охотнее и быстрее, чем приказание. Наполеон хотел, чтобы перед ним трепетали, Александр ставил задачей быть любимым. «Увидим, что лучше: заставить себя бояться или любить», — сказал он в Вильне в декабре 1812 года, замышляя поход на Париж. Отсюда джентльменское обращение с врагами и со всеми чужеземцами вообще. Союзники часто становились в тупик, не будучи в силах понять поведение «Агамемнона». Так, Кестльри, за месяц до взятия Парижа, с тревогой доносил лорду Ливерпулю об «опасном рыцарском настроении» Александра. «В отношении к Парижу, — писал Кестльри, — его личные взгляды не сходятся ни с политическими, ни с военными соображениями. Русский император, кажется, только ищет случая вступить во главе своей блестящей армии в Париж, по всей вероятности для того, чтобы противопоставить свое великодушное опустошению собственной его столицы». Вступая в Париж, он отменил оскорбительный обряд поднесения ключей города и сделал все для пощады национального самолюбия жителей. Он спас Лувр от расхищения и Вандомскую колонну¹⁹ от ярости роялистов. Позднее, в 1815 году, он воспротивился намерению прусского генерала Блюхера²⁰ взорвать Иенский мост через Сену. В то время как Наполеон отдал приказ через генерала Жирардена при отступлении своих войск из Парижа взорвать

Гренелльский пороховой погреб, отчего половина столицы могла взлететь на воздух, Александр предложение капитуляции мотивировал желанием спасти Париж от бомбардировки. Это желание нравиться чужим народам — отличительная черта Александра I. Можно подумать, что знаменитые конституционные мечтания юных лет рассчитаны были на завоевание популярности в Европе. Идея предстать перед нею более свободолюбивым, чем Наполеон, заключала одно из средств борьбы с ним. Только этим и можно объяснить, что, не дав русскому народу никакого государственного преобразования, он щедро раздавал конституции Ионическим островам, Финляндии, Польше, да не какие-нибудь, а самые либеральные, самые «передовые». Он же настоял и на даровании «Хартии» французам при воцарении Луи XVIII.

Само собой разумеется, чтобы соперничать с Наполеоном, надо было самому быть недюжинным человеком, и Александр впоследствии получил высокую оценку от своего противника. «Русский император, — говорил Наполеон, — человек несомненно выдающийся; он обладает умом, грацией, образованием. Он легко вкрадывается в душу, но доверять ему нельзя... Это настоящий грек древней Византии».

Кроме огромных дипломатических способностей и умения неуклонно стремиться к поставленной цели он отличался еще одним несравненным даром, которым, пожалуй, никто из деятелей его времени не обладал, — искусством привлекать и очаровывать людей. «Это сущий прельститель», — сказал о нем Сперанский. Не отдельных лиц, но целые народы умел он располагать к себе и держать под обаянием своей личности. Сам Бонапарт, по-видимому, испытывал на себе силу его чар, признавшись: «Быть может, он меня лишь мистифицировал, ибо он тонок, фальшив и ловок». Из всех прозваний, данных Александру, — «Сфинкс», «Блестящий метеор Севера», «Коронованный Гамлет» — самым метким надо признать то, которое дал Наполеон: «Северный Тальма». Тальма — знаменитый актер того времени. Действительно, вся жизнь этого человека была сплошная игра, сплошной ряд перевоплощений и эффектных сцен. Поражать, изумлять, производить впечатление — было его страстью. Жителей Вены в 1815 году он привел в неистовый восторг, встав во главе гвардейской части и салютуя обнаженной шпагой императору Францу. Никто лучше его не умел заставить говорить о себе в желательном для него смысле. Так, слухи о его склонности к католицизму поддерживались искусно разыгранными сценами, вроде той, когда он вдруг опустился на колени перед католическим прелатом князем Гогенлоэ. Был также случай в маленьком польском местечке, когда священник, войдя в пустой костел, увидел перед амвоном молитвен-

но склонившегося русского офицера, оказавшегося императором всероссийским.

До какой степени игра проникала всю его жизнь, можно судить по эпизоду в Вильно в 1812 году. Два офицера, боясь опоздать на церемонию во дворце, после которой должно было состояться богослужение в присутствии императора, решили пройти в зал кратчайшим путем через пустую церковь. Лакей остановил их: там государь. Что же государь может делать в пустой церкви? Он репетирует богослужение. Вопрос о том, как стоять в церкви и какую принять осанку, имел не меньшую важность, чем указ о вольных хлебопашцах. И, конечно, — костюм. Ни один из русских царей не был внимателен к своей наружности больше, чем Александр. Черный мундир он носил единственно потому, что это выгодно оттеняло белизну его лица. Все мемуаристы отмечают перемену, происшедшую в главной квартире в Вильно, когда туда прибыл император. Во время тарутинского сидения и всей эпопеи преследования Наполеона сам Кутузов и весь штаб вели спартанский образ жизни, простота в одежде дошла до предела: офицера порой трудно было отличить от солдата. С приездом царя и его свиты опять заблистали мундиры, аксельбанты, шитье, плюмажи. Император выходил всегда подтянутый, аккуратный, блестящий. Таким он прошел через всю Европу. На поля сражений являлся разодетым, как на бал, и вел себя там, как на подмостках. Принимая под Кульмом²¹ шпагу от взятого в плен маршала Вандама, он бесподобно, по всем правилам классической драмы, разыграл эту сцену. С. П. Мельгунов абсолютно прав, говоря, что «Александр останется в истории фигурой поистине примечательной, ибо такого артиста в жизни редко рождает мир, не только среди венценосцев, но и простых смертных». Историки лишь в XX веке начали обращать должное внимание на актерскую черту в облике Александра I, но и те из них, которые это делали, как М. В. Довнар-Запольский²² и С. П. Мельгунов, далеки были от мысли видеть в ней разгадку «сфинкса». Между тем вряд ли будет ошибкой сказать, что все обличья, которые попеременно надевал на себя этот человек в продолжение своего царствования, были театральными масками. Подобно тому как отдельным людям он стремился говорить то, что им было приятно, так и перед всем миром любил предстать в том одеянии, которое было модно. В эпоху Конвента и Директории он был чуть не якобинец, после уничтожения республики, когда из всего ее наследства уцелела главным образом идея конституционализма, он стал ее ревностным поборником. И позднее, после низложения Наполеона, когда мистицизм становился повальным увлечением, он устраивает во время смотра русской армии близ Вертю настоящий триумф ба-

ронессе Крюденер — тогдашней богородице мистических салонов Европы. «Царственный мистик», каким он становится в последнее десятилетие своего правления, был все тем же «северным Тальма», только в новой роли. И все эти роли были не русского, а западного репертуара, да и разыгрывались главным образом перед западной публикой. Как провинциальный актер, рвущийся откуда-нибудь из Харькова на столичную сцену, Александр стремился на Запад. Думается, что французы и поляки особенно любезны были его сердцу как раз потому, что это — самые «театральные» народы, наиболее падкие до внешнего блеска, красивой фразы и позы. Именно у них он пользовался наибольшим успехом. Барону Витролю он сказал, что после взятия Парижа у него не будет других союзников, кроме французского народа. К французам он прежде всего и ревновал своего противника. Говорят, когда пришло известие о возвращении с Эльбы, Александр взволнован был не фактом нового появления Бонапарта в Европе, а восторженным приемом, оказанным ему парижанами. Давно ли Париж целовал стремяна ему, Александру? И вот, целует их сопернику. Предательство Меттерниха и Кестльри — ничто в сравнении с такой изменой.

В успехе Александра его актерский талант сыграл примерно такую же роль, какую военный гений — в возвышении Бонапарта. Но надо ли пояснять разницу между двумя этими словами? Сейчас, через полтора столетия, подвиг Александра выглядит пиротехническим эффектом, пустой вспышкой. Он не сделал свою страну более великой, чем она была, и даже не указал ей истинного пути к величию. За разыгранной им феерией кроется историческая трагедия России. Сделавшись при Петре державой европейской, она усвоила во многом ложный взгляд на свой европеизм — не поняла, что ее победы должны одерживаться не под Кульмом и Лейпцигом, а на полях лицейских. Хотя она в течение XVIII века сделала изумительные успехи в усвоении культуры, они все еще были недостаточны, чтобы покрыть путь, пройденный Европой за тысячу лет. Никакие взятия Берлинов и Парижей не в состоянии были сделать ее европейской страной, пока не взята приступом собственная Чухлома. Ее называли «страной будущего», но она любила забегать вперед и делать в настоящем то, что могло быть сделано только в будущем. В своем положении неопита она не имела никаких специальных интересов на Западе, и до наступления культурной и экономической зрелости ей надлежало воздерживаться от политической активности в семействе великих держав. Вместо этого она постоянно вовлекается в чужие распри и всеми действиями обнаруживает отсутствие у нее собственной доктрины внешней политики. Такая доктрина была у допетровской Руси, она есть у СССР,

но ее не было у императорской России. Дипломатические и военные демарши никогда серьезно не обдумывались. Сегодня приходило на ум послать русскую армию в Пруссию, против Фридриха II, завтра в Италию для изгнания французов, послезавтра приказ: «Донскому и Уральскому казачьим войскам собираться в полки, идти в Индию и завоевать оную». Огромная страна шла на поводу у чужой дипломатии, становилась жертвой политических фантазий, а то и родственных связей царей с голштинскими, ольденбургскими, вюртембергскими, мекленбургскими домами.

Величайшим образцом ненациональной, негосударственной внешней политики останутся войны Александра с Наполеоном. Уже в 1805 году, когда они начались по инициативе русского императора, все мыслящие люди охвачены были тревогой. «Никогда не забуду своих горестных предчувствий, — писал Карамзин, — когда я, страдая в тяжелой болезни, услышал о походе нашего войска... Россия привела в движение все силы свои, чтоб помогать Англии и Вене, то есть служить им орудием в их злобе на Францию, без всякой особенной для себя выгоды». Национальная выгода подменялась личной прихотью государя, а здравый смысл — тщеславием. Насколько русская политика на Востоке вытекала, за редким исключением, из жизненных интересов и реальных задач империи, настолько участие в европейских делах не имело под собой рационального основания. И как знать, не от того ли погибла императорская Россия, что вступила в мировую войну не во имя своих, а чужих интересов?

